

Однако из юнца вышел, и необыкновенно скоро, – поэт, во всяком случае всеми за такового признаваемый, и даже по тщательности формы, по отделке ее – поэт в сорте Брюсова. Это был О.Мандельштам.

В далекие годы «декадентства» Брюсов не упускал случая выразить свое презрение или даже ненависть к «либералам». Но это уж так водилось. А затем – я не припомню ни одного брюсовского мнения по какому-нибудь вопросу более или менее широкому. Никогда не слышали мы, чтобы он и где-нибудь, не с нами, общих вопросов определенно касался. Стеклообразный колпак накрывал его; под ним, в безвоздушном пространстве своей единой, на себя обращенной страсти он и оставался. Изумительно, однако, что никто даже ни разу не спохватился: да что же это за человек? Да живой он или мертвый? Никто, ни разу: с такой мастерской хитростью умел Брюсов скрывать своеобразную мертвость души, мысли и сердца.

5.10. О МАКСИМИЛИАНЕ ВОЛОШИНЕ (1877-1932)

*Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.*

В начале своего пути Волошин примыкал к символистам, затем к акмеистам. Он испытал серьезное влияние французских поэтов и художников-импрессионистов. Многие его произведения посвящены событиям мировой и русской истории. Критики отмечали глубину содержания и безукоризненность формы, прекрасный язык его поэзии и широту его дарования. Значительный интерес представ-

ляют его переводы французских и бельгийских поэтов. С 1917 г. Волошин постоянно жил в Коктебеле.

ВИКЕНТИЙ ВЕРЕСАЕВ

С осени 1918 года до осени 1921 года мне пришлось прожить в Крыму, в дачном поселке Коктебель, где года два перед тем я купил себе дачу. Там жил и Волошин. Он был представителем озорства, попрания всех законов божеских и человеческих, упоенного «эпатирования буржуа». Вокруг него группировалась целая компания талантливых молодых людей и поклонниц, местных и приезжих. Они сами себя называли «обормотами». Сам Волошин был грузный, толстый мужчина с огромной головой, покрытой буйными кудрями, которые придерживались ремешком или венком из полыни, с курчавой бородой. Он ходил в длинной рубахе, похожей на древнегреческий хитон, с голыми икрами и сандалиями на ногах. Рассказывали, что вначале этим и ограничивался весь его костюм, но что вскоре к нему из деревни Коктебель пришли населявшие ее крестьяне-болгары и попросили его надевать под хитон штаны. Они не могут, чтобы люди в подобных костюмах ходили на глазах у их жен и дочерей.

Мать Волошина носила обормотское прозвание «Пра». Это была худощавая мужественная старуха. Ходила стриженная, в шароварах и сапогах, курила. Девушки из этой обормотской компании ходили в фантастических костюмах, напоминавших греческие, занимались по вечерам пластическими танцами и упражнениями. Иногда устраивались торжественные шествия в горы на поклонение восходящему солнцу, где Волошин играл роль жреца, воздевавшего руки к богу – солнцу.

Волошин обладал изумительной способностью сходиться с людьми самых различных общественных положе-

ний и направлений. В советское время, например, он умел, нисколько не поступаясь своим достоинством, дружить и с чекистами, и с белогвардейцами, когда Крым то и дело переходил из одних рук в другие. До революции он был в дружеских отношениях с таврическим губернатором Татищевым.

Волошин был человеком большого ума и огромнейшей образованности. Вячеслав Иванов, Брюсов, Мережковский, Андрей Белый, Бальмонт, Волошин – все это были люди с широким и глубоким образованием. Но замечательно вот что: все перечисленные модернисты были люди исключительно образованные в области литературы, истории, философии, религии, искусствоведения, лингвистики, многие даже – в области естествознания, но – по крайней мере те, с которыми мне приходилось сталкиваться, – были изумительно наивны и нетверды в вопросах общественных, экономических и политических; здесь их твердый и решительный шаг сменялся слабою колеблющейся походкой, и не стоило большого труда сбить их на землю.

Волошин был умен, образован. Но крайне неприятное впечатление производило его непреодолимое влечение к парадоксам. Человек чрезвычайно оригинальный, он изо всех сил старался оригинальничать. Чем ярче была нелепость, тем усиленнее он ее поддерживал. Очень скоро у меня пропала всякая охота о чем-нибудь спорить с ним. Чувствовалось, что самой очевидной истины он ни за что не примет, если она будет в банальной одежде. Маленькие его смеющиеся глазки под огромным лбом озорно бегали, и видно было, что он выискивает, чтобы сказать такое, чтобы посильнее ошарашить противника. Очень скоро это стало невыносимо скучным.

В политическом отношении он не считал себя ни большевиком, ни белым. Где-то в стихах писал, что ему

равно милы и белые и красные, и воображал, что стоит выше их, тогда как в действительности стоял только в стороне. У власти были красные – он умел дружить с красными; при белых – он дружил с белыми. И в то же время он всячески хлопотал перед красными за арестованных белых, перед белыми – за красных. Однажды при белых на одной из дач был подпольный съезд большевиков. Контрразведка накрыла его, участники съезда убежали в горы, а один явился к Волошину и попросил его спрятать. Волошин спрятал его на чердаке, очень мужественно и решительно держался с нагрянувшей контрразведкой, так что даже не сочли нужным сделать у него обыск. Когда впоследствии благодарили его за это, сказал: – Имейте в виду, что когда вы будете у власти, я так же буду поступать с вашими врагами.

И мастерская, и кабинет Волошина были во всю высоту заставлены полками с книгами. Книг было очень много, все очень ценное по литературе французской и русской, литературоведению, философии, теософии, искусствоведению, религии, масса ценнейших художественных изданий, заграничных и русских; книг по естествознанию не замечал; поражало полное отсутствие книг по общественным и экономическим наукам. Он с гордостью заявлял, что Маркса не читал и читать не будет.

Волошин был когда-то женат (на Сабашниковой), но давно разошелся с женой. В годы 1918–1921, когда я жил в Коктебеле, Волошин являлся везде с молодой, худощавой, довольно красивой женщиной, еврейкой, которую он всегда рекомендовал неопределенно-просто Татидой. Так все ее и звали. Елена Оттобальдовна (его мать) ее не любила, поедом ела, она была кроткая и безответная, делала самую черную работу. Для жизни она была какая-то неприспособленная. Когда я в 1926 году опять стал проводить лето в

Коктебеле, Елена Оттобальдовна уже умерла и при Волошине была Мария Степановна (Заболоцкая). Она была зарегистрирована с Волошиным и была очень энергичная и хозяйственная, ходила стриженная, в шароварах и сапожках.

Дача Волошина создавалась стихийно. Мать его отдавала комнаты дачникам и каждый год пристраивала новые комнатки. В глубине еще большой двухэтажный дом. В общем в даче было комнат двадцать пять. С приходом Советской власти путем больших хлопот, и собственных, и многочисленных его друзей, Волошину удалось спасти свою дачу от реквизиции. Он превратил ее в бесплатный Дом отдыха для писателей и художников, и в таком виде дача просуществовала до самой его смерти (впоследствии она была передана Литфонду). Волошин со смехом рассказывал, что местные болгары, сами обычно сдающие на лето все в своих домах, что можно только сдать для дачников, страшно возмущались тем, что Волошин сдает комнаты бесплатно, что это «не по-коммунистически». Каждый год масса интереснейших писателей и художников съезжались к Волошину; в мастерской устраивались разнообразнейшие литературные чтения. Волошин слушал и рисовал акварельные картинки. Он был еще и художником и писал акварели, представлявшие по большей части идеализированную природу Коктебеля. Писал он их чуть ли не пачками, одновременно по несколько штук, и потом раздаривал друзьям. На литературных этих сборищах очень много своих стихов читал и сам Волошин.

Очень оригинальна его литературная судьба. Начал он второсортными модернистскими стихами. Но и тогда обратило на себя внимание его энергичное стихотворение, кажется, называлось оно «Ангел мщения». Стихи его были перенасыщены ученостью, а чтобы понимать его, нужно было постоянно заглядывать в энциклопедический словарь.

Однажды в Москве он читал одно стихотворение Вячеславу Иванову и сам с гордостью говорил об этом стихотворении, что во всем мире его могут понять только два человека: он сам и Вячеслав Иванов.

Революция ударила по его творчеству, как огниво по кремню, и из него посыпались яркие, великолепные искры. Как будто совсем другой поэт явился, мужественный, сильный, с простым и мудрым словом, но и тут постоянно его сосало желание оригинальничать.

Печатался Волошин мало. Литературный гонорар был ничтожный. Кое-что получал от продажи своих акварелей. Существовать на это было, конечно, невозможно. Кажется, получал он ежемесячно что-то от ЦЕКУБУ (Центральная комиссия улучшения быта ученых). Много помогали гостившие у него летом клиенты. Волошин целый год получал от них продуктовые посылки, так что даже менял продукты на молоко. Он легко брал от других, но легко и отдавал.

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ

В Волошине была особая ласковость, какое-то очень вкрадчивое благожелательство, он всегда готов был придти другому на выручку, и это подкупало. Щедр был духовно и восторженно впечатлителен, иногда и трогательно заботлив. А физически – совсем лесовик из гриммовской сказки. Сильный, массивный (весил семь пудов), хоть невысок ростом, – он отличался на вид цветущим, пышущим здоровьем, и не жирен, а необыкновенно плотен и, вместе, легок на ходу: упругий мяч. Это делало его, пожалуй, несколько «неуместным» рядом с другими жрецами муз в редакции «Аполлона», большею частью – худыми, телесно недоразвитыми. Стесняла его немного эта массивность и пользовался он всяким случаем, как бы помочь слабейшему. Любил, между прочим, лечить наложением рук; уверял, что из

него исходят флюиды. От его мощного, полнокровного тела и впрямь веяло каким-то приятным жаром.

К русской литературе он долго никак не умел пристать. Несмотря на огромную трудоспособность и страсть к писательству, сам писал сравнительно мало, больше переводил французских новоявленных гениев, например, Верхарна и Поля Клоделя. Среди сотрудников «Аполлона» он оставался чужаком по всему складу мышления, по своему самосознанию и по универсализму художественных и умозрительных пристрастий. В Париже, где прожил он довольно долго до нашей «первой» революции, занимаясь живописью, он офранцузился не на шутку, примкнув к монпарнасской богеме (хотя очень плохо владел французским языком, – так, никогда и не научился).

Но поэзия Волошина в то время не производила особого впечатления, хоть он и удивлял уже техническим мастерством. Недоставало его стихам той силы внушения, которая не достигается никакими внешними приемами. От их изысканной нарядности веяло холодом... По крайней мере, таковы почти все стихи (за 1900–1910 гг.), вошедшие в единственный дореволюционный его сборник, изданный «Грифом» под заглавием «Стихотворения». В молодых «Стихотворениях» Волошина много романтизма и археологической эрудиции.

Но все это не тот еще Волошин, которого будет помнить Россия... Нужен был «Октябрь», нужны были трус и глад и мор революции, воспринятые Волошиным со щемящей болью и мистическим смирением (но не соблазнившие его социальными иллюзиями, как стольких писателей), нужно было «потерять Россию», ту благословенную, чудотворную Россию, которую «Октябрь» втапывал в кровь и грязь, чтобы он обрел ее в себе... И вдруг забили в нем какие-то изглуби русские истоки: он вырос в эти революци-

онные годы, проживая в своем возлюбленном Крыму, в Коктебеле, вырос в крупного поэта.

Ему была характерна неестественная, душевная и физическая застенчивость. Недаром ведь, у него была слава вечного девственника, хоть он и отрицал это. Еще в первой молодости он женился, и тотчас почти – с женой разрыв. Я познакомился как-то в Москве (по поводу одной выставки) с этой неудавшейся подругой жизни Волошина – Сабашниковой (из просвещенной московской купеческой семьи). Разойдясь с Волошиным, она сохранила с ним товарищескую связь. Злые языки утверждали, что она никогда и не была ему женой. Я спросил ее про мужа с полушутливой откровенностью: – Скажите, кто он, и почему так странны его дружеские приключения с женщинами? Подумав, она ответила с какой-то полуобиженной усмешкой: – Макс? Он – недовоплощенный...

По истечении года после «великой и бескровной» революции бывший социалист-революционер Волошин «принял» Октябрь с отвращением. Крымская бойня двадцатого года глубоко, неизгладимо ранила поэта. Он писал: «Стал человек один другому «дьявол».

В философских послереволюционных стихах Волошина, случается «риторика» такой силы, что тут грани стираются между изреченным словом и напором вдохновенного чувства. Это уже словесное волшебство, и оно убедительней всякой надуманной мудрости. Что было написано им позже 1922 года – в течение целых десяти с лишним лет жизни, которые даровала ему судьба после упомянутых берлинских его книг, – жизни в своем коктебельском доме, обращенном в «Дом отдыха», куда съезжались летом писатели и артисты?... Об этом узнавали мы только случайно, из источников, часто и недостоверных.

Мы знаем еще, что советчики, пусть и не печатали Волошина, но – терпели, И даже больше: не только не преследовали Коктебельского мудреца, хотя он не шел ни на какие сделки с совестью, а случалось, и подкрепляли его продовольственными посылками, благодаря хлопотам Валерия Брюсова. Но Брюсов умер в октябре 1924 г. Получали Макс и позже какой-нибудь писательский паек? Вряд ли. Хорошо еще, что позволяли ему вольно дышать в Коктебеле, где он продолжал чувствовать себя немного хозяином: жил, окруженный друзьями и книгами в прежней своей просторной студии. «Пансионеров» в Коктебельском «Доме отдыха» бывало достаточно, иногда до трехсот за год. Среди них многие относились к нему дружески-заботливо. Разумеется, чем могли – помогали. Но эта помощь не разрешала вопроса о средствах к существованию. Единственным его заработком была случайная продажа акварелей с видами Крыма, он рисовал их неумоимо. В одном из коктебельских писем Волошина, просочившихся за границу, он признается, что материально существует каким-то чудом. К тому же и здоровьем он слабел после тяжелой болезни, перенесенной в 1921 г. Было ему немногим больше пятидесяти лет, когда он стал глохнуть и слепнуть.

Он умер, по-видимому, в крайней нужде в августе 1932 года, 55 лет от роду. В эмигрантских газетах были некрологи. Написал о нем свои воспоминания и Бунин. Вскоре затем Марина Цветаева получила из Москвы письмо от Екатерины Алексеевны Бальмонт: «Зимой ему было очень плохо, писала она, – он страшно задыхался. К весне стало еще хуже. Припадки астмы учащались. Летом решили его везти в Ессентуки. Но у него сделался грипп, осложненный эмфиземой легких, отчего он и умер в больших страданиях. Он был очень кроток и терпелив, знал, что умирает. Очень мужественно ждал конца... Похоронили

его по желанию в скале, которая очертаниями напоминала голову Макса в профиль...»

Волошин – явление на закате российской имперской культуры. Фигура ни с какой другой не сравнимая. Пора серьезно вчитаться в его стихи. В них сверкают те пророческие зарницы, которые именно в наше время все тревожнее свидетельствуют о надвигающейся грозе.

Какая противоположность: Волошин и Гумилев, другой тоже погибший приятель мой, соперник Волошина в смертельной расправе из-за выдуманной Волошиным поэтессы Черубины де Габриак. Они противоположны всем обликом, всем самосознанием, всем закалом души. Обоих погубила революция, но как непохожи их смерти! Застреленный в затылок Гумилев в подвале ЧК, сам себе напрозорчивший страшную гибель, такую внезапную, всех удивившую в свое время, и Волошин, медленно умиравший много лет, хоть и он предчувствовал неумолимый рок... Еще в 1921 году, лежа на койке феодосийской больницы, тяжело болевший поэт написал стихи «На дне преисподней», посвятив их памяти Блока и Гумилева, того самого Николая Степановича Гумилева, который двадцать два года раньше стоял перед его пистолетом из-за женщины, оскорбленной им, Гумилевым, как мы знаем теперь – и призрачной, и вполне реальной Черубины де Габриак...

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Коктебель и М.А. Волошин неразделимы. Он первый поселился в этих неприветливых местах, в самом им построенном доме, к порогу которого подкатывались волны прибоя. С него, собственно, и начинается литературная история Коктебеля. Историк, археолог, ботаник, геолог, художник, поэт – Максимилиан Волошин одухотворил свой Коктебель страстной, до старости не угасающей любовью.

Я познакомился с М.А. Волошиным ранней весной 1926 года, когда он приезжал, после Москвы, в Ленинград со своей выставкой акварелей, посвященных природе Восточного Крыма. До сих пор я не знал его как художника, хотя имя Волошина, поэта, мне было, конечно, хорошо известно. Почти все волошинские стихи были посвящены темам искусства. По своим прежним чисто читательским представлениям я ожидал увидеть изысканного парижанина, типичного француза, чуть ли не в цилиндре и с моноклом в левом глазу. Велико же было мое удивление, когда передо мной оказался невысокий, богатырского сложения человек с чисто русским лицом, с широкой дьяконской шевелюрой и густой, окладистой бородой – почти персонаж из пьесы Островского. Все в его облике дышало давней, чуть ли не допетровской Русью. И только изысканно построенная, несколько грассирующая речь, изящно-сдержанный жест да строгое профессорское пенсне выдавали в Волошине европейца, завсегдатая поэтических собраний и людных вернисажей.

В последний раз я видел Максимилиана Александровича летом 1932 года. Он уже заметно одряхлел и почти не выходил из своей комнаты. Одышка часто прерывала его речь. Но он по-прежнему был окружен молодежью и почтенными учеными, отдавая весь свой вечерний отдых занимательной беседе. По-прежнему, преодолевая болезнь, поднимался он на свою рабочую вышку и склонялся над свежим листом начатой акварели, чтобы подготовить ее как подарок кому-либо из отъезжающих друзей.

Помню, в день моего отъезда он чувствовал себя особенно плохо (астма мучила его всю ночь), но в минуту прощания, как ни отговаривал я его, собрал все свои силы и вышел меня проводить за ограду дома к станции почтового автобуса. Там, на сухой пыльной тропинке, он обнял меня

молча, и я в то же мгновение с необычайной остротой печали почувствовал, что это наша последняя встреча. Полтора месяца спустя в маленьком предгорном городишке Казахстана Аулие-Ата, разбирая почту, привезенную верховым на нашу геологическую базу, я распечатал узкий синеватый бланк телеграммы. Сухо и кратко она извещала о смерти М.А. Волошина 11 августа 1932 года.

ЭМИЛИЙ МИНДЛИН

Мандельштам как-то взял у Волошина экземпляр «Божественной комедии» Данте – издание итальянского подлинника с параллельным переводом на французский язык – и, увы, затерял его. Это неудивительно при его тогдашней бродячей, неустроенной жизни. У него не было постоянного пристанища ни в Феодосии, ни в Коктебеле. А бывало еще, что он и брат его Александр нанимались работать на виноградниках где-нибудь в районе Коз и Отуз. И вот, раздобыв ничтожную толику денег, Мандельштам собрался уехать из Феодосии морем. Волошин написал своему другу, начальнику Феодосийского порта, записку – просил в ней потребовать у Мандельштама «Божественную комедию». Добродушный начальник порта показал эту записку Мандельштаму. Куда девался волошинский Данте, измученный Мандельштам понятия не имел. Но требование Волошина взорвало его. Он написал оскорбительное, ругательное письмо Волошину. Сначала он показал это письмо мне, даже писал его в моем присутствии за столиком в кафе «Фонтанчик». Я тщетно умолял Мандельштама не отправлять письмо. Подозреваю, что кроме меня это письмо он читал и другим. Очевидно, знал об этом письме и Илья Эренбург, у которого незадолго до этого произошла размолвка с Волошиным. (Эренбург с женой тоже жил в Кок-

тебеле, но не у Волошина, а поблизости от него, на даче Харламова).

НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ

С Максимилианом Александровичем Волошиным я познакомился весной 1922 г. во время его первого после революции и гражданской войны приезда в Петроград. Как поэта тогдашняя литературная молодежь знала его мало и мало им интересовалась, считая его одним из второстепенных подражателей Брюсова.

Прислушиваясь к его рассказам, – а он был говорлив, – легко можно было заметить, что красные ему все-таки куда милее белых. О писателях-эмигрантах говорил он с открытой враждебностью. Проездом в Петроград он остановился в Москве и не без гордости рассказывал, как хорошо был встречен Брюсовым, который был в то время коммунистом и, в сущности, руководителем всей московской литературной жизни.

В двадцать четвертом году приехал он в Ленинград с женой, Марьей Степановной. Первая его жена была Сабашникова, судя по фотографии, красивая женщина – из известной семьи московских купцов и издателей. Марья Степановна была маленькая женщина, очень ему преданная и трогательно считавшая его великим поэтом и великим человеком. Марья Степановна была по образованию фельдшерица, и именно как фельдшерица попала в коктейбельский дом Волошина, – ухаживала за матерью Макса во время ее предсмертной болезни и осталась в доме хозяйкой.

Стихи Волошина произвели на меня большое впечатление. Это было совсем не то, что я ожидал. Ни брюсовщины, ни гумилевщины не оказалось в них ни капли – никакого «Аполлона». Это были серьезные живые раздумья о России, о революции, об истории, о только что утихнувшей

гражданской войне, выраженные в несколько тяжеловатых, длинноватых, но страстных и искренних стихах. Особенно запомнилось мне «Видение Иезекииля» – лучшее, по моему, из всего, что написал Волошин. Отец мой вежливо хвалил их, восхищался отдельными удачными выражениями, но по тону его я понял, что стихи понравились ему не очень и что он, как и раньше, считает Макса поэтом второстепенным. Макс же принадлежал к числу тех литераторов, которые не сомневаются в величии всего, что они пишут, и позволяют слушателям только восхищаться.

...Волошины приняли нас ласково, дали нам комнату. В этом вовсе не было проявления особого к нам внимания. В их странном доме всех принимали так, даже совсем незнакомых. Без всяких просьб и оснований во множестве жили у Волошиных самые разные литераторы, окололитературные люди и многочисленные дамы и девицы. Кормились все за свой счет и кто как умел.

Жили Волошины крайне бедно, на наш нынешний взгляд даже нище. Макс не зарабатывал ничего, а Марья Степановна, лечившая как фельдшерица больных в деревне, получала за свои труды копейки. Бедностью своей Макс не тяготился нисколько и, казалось, не замечал ее. От своих гостей он хотел лишь одного – чтобы они восхищались его стихами и мудростью. И гости охотно и щедро платили ему восхищением. Одни потому, что это им ничего не стоило, другие – большинство – совершенно искренне.

Волошин любил Коктебель нежной любовью и старался заразить ею каждого. Каждому он хотел показать все. Мы изнемогали, поднимаясь вслед за ним на кручи, мы не осмеливались следовать за ним по каменным карнизам над бездной, где он шагал так же уверенно, как по ровному полю. Жар солнца не смущал его, – он всегда ходил с непокрытой головой. Природа Коктебеля поразительно разно-

образна – за час ходьбы можно попасть и в степи, похожие на пустыни, и в скалистые горы, и в горные дубовые леса. И всюду – море.

По вечерам после ужина все население обеих дач собиралось у Макса на «вышке». «Вышкой» называлась открытая площадка на крыше дачи, куда можно было подняться по деревянной лестнице. Днем оттуда был прелестный вид на Коктебельскую бухту, на Карадаг, на окрестные холмы. Глядя с «вышки» на Карадаг, можно было заметить, что карадагская скала, обращенная к морю, напоминает своими очертаниями исполинский профиль Макса. Сходство и впрямь было поразительное, – Максин лоб, Максины глазные впадины, Максин нос, Максина борода. Макс гордился этим сходством и даже воспел его в стихах: «И на скале, замкнувшей зыбь залива, Судьбой и ветрами изваян профиль мой».

О Максимилиане Волошине и Андрее Белом

...С приездом Андрея Белого многое изменилось. Его ждали давно и с волнением. Гостей Макса волновала возможность близкого знакомства со знаменитым писателем. Макса волновала встреча со старым знакомым, которого он не видел уже восемь лет. Андрей Белый находился тогда на вершине своей славы. Он был близок тогдашней интеллигенции, потому что пережил – начиная с 1905 г. – все те наиболее типичные колебания, которые пережила она сама. Как и Блок, начал он с «соловьевства». После 1905 г. он выпустил «Пепел» – самую лучшую и самую реалистическую из своих стихотворных книг, полную любви к революции и ненависти к старой России. На стороне революции стоял он и в «Петербурге» – талантливом романе о борьбе с самодержавием. Да и революцию изображал он в «Петербурге» как борьбу эсеровских заговорщиков с царскими

администраторами. В годы реакции он поддавался всем реакционным влияниям – главным образом мистико-религиозным. В 1914 г. он мечтал о «разгроме тевтонов», в 1916-м – о революции и о мире без аннексий и контрибуций. Февральскую революцию встретил восторженно. В 1917 г. развивался все влево и влево и восторженно встретил Октябрь. В начале 1918 г., в одно время с блоковскими «Двенадцатью», он написал стихотворение, в котором воспел Октябрьскую революцию.

Октябрьская революция представлялась ему тогда событием стихийным и анархическим, – и именно это ему в ней нравилось. В годы гражданской войны, в годы голода и разрухи, когда в революции стали все отчетливее проявляться организационно-государственные формы он стал охладевать к ней. Он написал поэму «Последнее свидание» – всю обращенную к прошлому, к далекой ранней юности – прелестную, в которой он изобразил свою юность куда ярче и отчетливее, чем в томах своих воспоминаний, написанных в последние годы жизни. После гражданской войны оставил Советскую Россию и уехал за границу. Эмигрантские круги приняли его поначалу восторженно, но очень скоро выяснилось, что они ошиблись. Белогвардейская эмиграция оказалась для Белого совершенно чуждой, и он занял по отношению к ней резко враждебную позицию. Уже через год явился он в советское полпредство в Берлине и попросился назад, в Москву. Его пустили. И через несколько месяцев после возвращения он приехал в Коктебель к Максиму.

Он приехал в Коктебель не один, а с пятью дамами средних лет, пятью антропософками, пылкими его поклонницами. Имен и фамилий их я не помню, но – странное совпадение – по отчеству они все были Николавны. Всех пятерых Николавен поселили в первом этаже дачи Юнгов,

в одной комнате, самой задней – той, которая выходит окнами в противоположную от моря сторону. Белый же занял комнату в доме Макса, выходящую на ту деревянную терраску, которая еще и до сих пор называется «палубой». До приезда Белого в Коктебеле был один центр, вокруг которого вращалось все общество, – Макс. Теперь центров стала два. И новое солнце стало быстро затмевать прежнее.

Белый, несмотря на седину и лысину, был в то время еще сухощав и крепок. Лицом он казался значительно старше своих сорока четырех лет, но тело имел совсем юношеское, очень скоро покрывшееся коричневым загаром. Ходил он быстро, легко, был подвижен, деятелен и говорлив. Говорил торопливо, с присвистом, сильно жестикулируя, и маленькие голубенькие глазки его, как буравчики, вонзались в собеседника. Вставал он рано, шел на пляж, купался в стороне от всех, – потом много часов бродил по берегу, собирая камешки. Недели через две после приезда он устроил выставку своих камешков на деревянных перилах своей терраски, и, помню, коллекция эта поразила всех любителей красотой, подбором, количеством.

На мужской пляж он не ходил, и многое в тогдашних слишком свободных коктебельских нравах было ему, по видимому, не по вкусу. Помню, каким раздраженным вернулся он однажды с берега моря и с каким возмущением рассказывал, как две незнакомые дамы подошли к тому месту, где он сидел, и стали раздеваться в нескольких шагах от него. Он долго не мог успокоиться, пришепetyвал и присвистывал от негодования, а Макс, поклонник античности и свободы, глядел на него, добродушно и хитро улыбаясь в бороду.

С женщинами Белый был учтив до чопорности. Вскоре оказалось, что он отличный и страстный танцор. Из Берлина привез он новый танец – фокстрот, о котором мы до

тех пор никогда и не слышали. Он решил обучить фокстроту нас всех и в одной из больших комнат юнговского дома устроил танцевальный вечер. Явился он в домино, надетом на голое тело, – точно таком, какое описано в его романе «Петербург». Танцевал он стремительно, пылко, самозабвенно и мою девятнадцатилетнюю жену явно предпочитал как партнершу всем своим пятерым антропософкам.

Уже тогда начал чувствоваться тот разлад между Белым и Максом, который постепенно разрастался. На вечерних собраниях на «вышке» теперь царствовал не Макс, а Белый. И восхищались стихами не Макса, а Белого. Макс, конечно, еще раз прочел перед Белым все те свои стихи, которые уже неоднократно читал перед нами. И Белый хвалил их учтивейше, но, видимо, не так, как хотелось бы Макс. Стихи же самого Белого принимались слушателями восторженно. И действительно, слушать его под кокетельскими звездами было большим наслаждением. Я всегда любил многие его стихи и всегда считал его поэзию выше его прозы, которая написана излишне сложно, манерно, путано, претенциозно.

Охлаждение между Максом и Белым, исподволь нараставшее, прорвалось наконец наружу после того, как Белый прочел нам инсценировку своего романа «Петербург». Слушать его собрались мы после обеда у Макса в мастерской. Белый читал стоя, расхаживал под бюстом египетской богини Таиах, то кричал, то шептал, размахивал руками, вкладывал в чтение весь свой темперамент. Слушатели расположились где попало – на ступеньках деревянной лестницы, на тахте, на ковре. Макс сидел у окна, спиной к морю, за маленьким столиком, раскрыв перед собой большой альбом, разложив акварельные краски и кисточки. Слушая, он писал свои пейзажи, прелестные и талантливые, хотя и дилетантские.

Он слушал Белого спокойно, настолько углубившись в свои акварели, что нельзя было даже сказать, слушает он или нет. Он ни разу не показал, что чтение ему нравится. Признаться, мы все были несколько разочарованы, хотя не осмеливались это показать. Инсценировки романов редко удаются, и у Белого его «Петербург», превращенный в драму, стал бледен и ходулен. Буря разразилась после чтения – когда началось обсуждение. Впрочем, первые выступавшие говорили комплиментарно, хотя и очень общо, пока не выступил Макс. В его выступлении, внешне вполне корректном и очень добродушном, было несколько насмешливых колкостей. Это вывело Белого из себя. Он даже растерялся от бешенства. Перебивая Макса, он возражал ему дрожащим от обиды фальцетом – и довольно невразумительно. В его выражениях были намеки на что-то давнее, нам, присутствовавшим, неизвестное и непонятное. Макс не потерял самообладания, но сильно покраснел. Страсти накалялись, началась общая сумятица, и кончилось это тем, что Белый решил немедленно уехать и пошел укладывать свой чемодан. Все пять Николавен вышли вместе с ним и тоже отправились укладывать чемоданы.

Ссору эту Максуду удалось ликвидировать – он объяснился с Белым наедине, и Белый остался. Но прежние отношения уже не восстановились, – Белый никогда уже больше не приезжал в Коктебель. Нам с женой пора было уезжать. Мы провели в Коктебеле более полутора месяцев. Я снова приехал в Коктебель через восемь лет после первого моего посещения – в июле 1932 г. Ехал я на этот раз один, без жены, и не в гости к Максуде, а по путевке в Дом отдыха Литфонда. К тому времени дом Макса был уже домом Литфонда, – за Волошиными оставался только второй этаж, где помещалась мастерская Макса. Все это произошло по воле самих Волошиных. Соседний дом – дача Юнга –

тоже принадлежал теперь Литфонду. Обоими этими домами распоряжалась Московское отделение Литфонда. У Литфонда был еще и третий дом в Коктебеле – бывшая дача Манасеиной. Этой дачей распоряжалось Ленинградское отделение Литфонда, и я, как ленинградец, поселен был в ней.

Постоянная жизнь в Коктебеле, вдали от литературных центров, мешала стареющему Максиму завязать связи с крепнувшей молодой советской литературой. За восемь лет, с 1924 по 1932 год, интеллигенция прошла огромный путь развития, а Макс, у которого, безусловно, были все данные, чтобы принять в этом развитии участие, остался в стороне, отстал, законсервированный среди коктебельских гор и пляжей. Приехав в Коктебель, я сразу узнал, что он тяжело болен. За несколько дней до моего приезда у него был удар. Я поспешил к нему. Макс, необычайно толстый, расплывшийся, сидел в соломенном кресле. Дышал он громко. Он заговорил со мной, но слов его я не понял, – после удара он стал говорить невнятно. Одна только Марья Степановна понимала его и в течение всей нашей беседы служила нам как бы переводчиком. Через несколько дней у него был второй удар, и он умер. Мы узнали, что он завещал похоронить себя на высоком холме над морем, откуда открывался вид на всю коктебельскую долину. Восхождение на могилу стало любимой прогулкой отдыхающих в Коктебеле. Могила Волошина стала местной достопримечательностью, пользующейся всеобщим уважением. Все приезжающие в Коктебель знают, что это могила поэта, и почтительно склоняются перед нею.

ИВАН БУНИН

Волошин был одним из наиболее видных поэтов России предреволюционных и революционных лет и сочетал в

своих стихах многие весьма типичные черты большинства этих поэтов: их эстетизм, снобизм, символизм, их увлечение европейской поэзией конца прошлого и начала нынешнего века, их политическую «смену вех» (в зависимости от того, что было выгоднее в ту или иную пору); был у него и другой грех: слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции. Я лично знал Волошина со времен довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе, зимой и весной девятнадцатого года, не близко. Помню его первые стихи, – судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьется внешне и внутренне. Помню наши первые встречи, в Москве. Он уже был тогда заметным сотрудником «Весов», «Золотого Руна». Уже и тогда очень тщательно «сделана» была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темно-рус, кудряв и бородат: из всего этого он, не взирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторогобаранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую черную шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоил себе в обращении с людьми старинную французскую оживленность, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и «очаровательное», хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как почти все его современники стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду, где угодно и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстые плечи, свою и без того

высоко поднятую грудную клетку, на которой обозначались под блузой почти женские груди, делал лицо олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающийся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику – и осторожное, но неутомимое сладострастие аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином... Помню встречу с ним в конце 1905 г., тоже в Москве. Тогда чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страстными революционерами, – при большом, кстати сказать, содействии Горького и его газеты «Борьба», в которой участвовал сам Ленин.

...Его книгами – спутниками (по его словам) были: Пушкин и Лермонтов с пяти лет, с семи Достоевский и Эдгар По; с тринадцати Гюго и Диккенс; с шестнадцати Шиллер, Гейне, Байрон; с двадцати четырех французские поэты и Анатоль Франс; книги последних лет: Багават-Гита, Маллармэ, Поль Клодель, Анри де Ренье, Вилье де Лилль Адан – Индия и Франция...

...Волошин иногда у нас ночует. У нас есть некоторый запас сала и спирта, он ест жадно и с наслаждением и все говорит, говорит и все на самые высокие и трагические темы. Между прочим, из его речей о масонах ясно, что он масон, – да и как бы он мог при его любопытстве и прочих свойствах характера упустить случай попасть в такое общество?...

... Я его не раз предупреждал: не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были еще вчера. Болтает в ответ то же, что и художники: «Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник». – «В украшении чего?

Собственной виселицы?» – Все-таки побежал. А на другой день в «Известиях»: «К нам лезет Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам...» Волошин хочет писать письмо в редакцию, полное благородного негодования. Письмо естественно не опубликовали... Теперь уже давно нет его в живых. Ни революционером, ни большевиком он, конечно, не был, но, повторяю, вел себя все же очень странно...

5.11. ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ (1880-1921)

*И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.*

Блок – истинно великий национальный поэт, тесно связанный с исторической жизнью нашей родины, классик русской поэзии. Блок – поэт очень тонкий, сложный и противоречивый. Он не стал поэтом-реалистом. Несмотря на то, что в некоторых его стихах, по преимуществу сатирического склада, и в поэме «Возмездие» обнаруживаются реалистические элементы, в целом поэзия Блока – это явление романтического искусства. Благодаря тому, что Блок был поэтом громадной лирической силы, ему удалось создать превосходные стихи, которые обогатили русскую классическую лирику любви и природы. Из всех поэтов своего времени именно Блоку удалось с наибольшей художественной силой отразить трагические противоречия эпохи. Вяч. Иванов отмечал: «Блок – первый из современных русских лириков. В обычной речи такой простой, он как бы двух слов связать не может, а в своих стихах оказывается он знает о вас интуитивно такие вещи, та-